

К 70-летию начала фашистской оккупации Одессы

Начало трагедии

Из дневника Б.Г. Деткова

Перед вами уникальные исторические свидетельства – страницы одесского дневника Б.Г. Деткова, описывающие первые шаги румынской оккупации нашего города (записи с 16 октября по 8 ноября 1941 г.).

Это документы без прикрас, без каких-либо уточнений и поправок.

Первые виселицы, первые униженные и оскорбленные, первая кровь и первые предательства, первые уроки мужества. Как оно есть...

Записи Б.Г. Деткова и сегодня доносят до нас дыхание черного октября 1941 г. Комментировать эти материалы бессмысленно.

Эти записи были обнаружены в случайно оказавшейся в моих руках папке с различными документами прошлых лет.

...Многие хотели бы изобразить румынских оккупантов «опереточными» солдатами. Эти «опереточные» солдаты вдоволь поиздевались над Одессой и одесситами. Пролитая кровь не измеряется цифрами, но мы должны помнить, что только за первые две недели оккупации в Одессе уничтожено порядка 50000, а за годы оккупации в одесском регионе – не менее 240000 евреев. За это никто так и не ответил...

Они считали, что пришли в Одессу навечно, хозяйским глазом осматривая наш порт, наши улицы и бульвары. Им было наплевать на нашу историю, наши традиции, наши человеческие ценности.

В итоге вышла фига...

Одесса не по зубам оккупантам любого рода – будь это военные или современные трактователи истории, пытающиеся диктовать нам свое понимание добра и зла, заставляющие шагать в ногу с идеями, в которые Одесса не верила и никогда не поверит.

Искренняя благодарность доктору искусствоведения Е.О. Лукашовой за подготовку дневника Б.Г. Деткова к печати.

Михаил Пойзнер

16/X 1941 г.

Город горит. Город бомбят. Листовки, подписанные Колыбановым, об оставлении Одессы и что это временно из стратегических соображений.

На нефтегавани брошенные машины, орудия, расстрелянные лошади.

За нашим домом остановилась полуторка. Двое хмурых офицеров, повозившись у радиатора, подорвали мотор и, оставив машину, ушли в город.

На Жеваховой горе появились какие-то солдаты: «Румыны».

Под вечер на броневике проехал румынский офицер с браунингом в руке и, прокатившись на Ярмарочную, вернулся. Вскоро по Николаевской двинулись румынские войска.

17/X 1941 г.

Разбираются баррикады. Руководят работой румыны, работают русские. Всех проходящих задерживают и направляют на работы. Худощавый с сухим бледным лицом и болезненным синим носом посмотрел бумажку «Пескари», «Пешты» и сказал: «Нет харош, – и, подняв вверх палец, буркнул: – Один час работать!». Взяли мел, лопаты и стали ковыряться – ничего не поделаешь. Стали смотреть, как бы сорваться.

Наблюдал интересную картину.

Один паренек отбивался от подталкивающих его солдат и утверждал, что он немец. Злой офицер завизжал, топая ногами на солдат, и те стали энергично толкать немчика к баррикаде. Тот все же __?__ сопротивлялся. Тогда офицер подозвал румына-солдата и на своем языке сказал. Я понял содержание приказа: «Отведи его в полицию и скажи, что он коммунист». Немчик под штыками был отконвоирован в 4-й район. Вскоре солдат вернулся с сопровождавшим его штатским. Поговорили о чем-то с офицером, тот опять пошел в район. Дальнейшая судьба строптивного немца мне не известна.

Появился еще один офицер в каске, который хотя и не отпускал людей, но не кричал на них, не топал ногами.

Выждав, когда офицер в каске остался один, я показал ему справку из диспансера о том, что я болен. Тот прочитал. «Pneumothorax?» Спросил и отпустил меня.

Взорвали дамбу. Никакой пользы фронту это не дало, а принесло горе всем жителям Балтской дороги, пескам и всем улицам за Московской: Богатого, Щелакова, Зайцева и т. д. Люди бросили свои квартиры и стали захватывать все свободное на Московской, 2-м Лиманчике.

На Московской был затоплен садик-круг, и вода стояла аж до мясокомбината. Движение по Московской было пешеходное через проездные ворота (б. 1-е ворота з-да Гена и до 2-го Заливного переулка, места несколько возвышенные, по ним двигался поток пешеходов). На проходной завода стоял румынский солдат и шарил по котомкам. Искали вроде бы оружие. Залита была и 2-я Николаевская.

Итак, с передовой Одесса очутилась в глубоком тылу.

Румынский офицер открыл Комбикормовый завод, и вся округа потянула по домам ячменную муку, полосу, зерно. Мы сделали несколько ходок, принесли ячменной муки. Не сдохнем с голода.

Вылез из норы, «кугут» зарос как медведь – пролежал там не менее 3-х месяцев.

На море в сторожку нашего невода к Володе зашел румын со скрипкой. Его Володя угостил сарделью. Поев, он трижды перекрестился и запил ужин водой из бутылки. Затем он взял скрипку и пропиликал «Казачок» в нескольких вариациях. Сыграл молдавского «Чабана» и запел гнусавым баритончиком, но сколько в эту песню было заложено чувства, что мы с Васькой, вслушиваясь, поддались под его настроение. И жалок он нам показался. Вспомнился Прут, поглотивший тысячи таких несчастных, гонимых ради интересов своих господ.

Тишина. Где-то догорают пожары.

18/X 1941 г.

Пошел в город в надежде зайти к Эрлихам и в диспансер. Очередное поддувание уже было давно пропущено. И это меня беспокоило.

На нефтяной гавани хозяйничали румыны. Шел, остерегаясь какого-нибудь произвола. Никто на меня не обращал внимания. За Сахарным заводом вагоны с колесами для ж. д. вагонов и буксами. Наткнулся на вагон с лабораторным оборудованием с маслозавода.

Вышел на Московскую у Качана (2-й Заливной переулок). Много румын. Часть мужчин – жителей стояла в строю под охраной солдат. Я понял – по улицам подхватывают.

Пытался пройти на Богатого – там все залито водой.

У клуба юных пионеров меня задержали и направили во двор. Там нас, наловленных, таких же, как и я, направили на Московскую, 87. Когда нас туда привели, я почему-то сразу не узнал этого дома, куда ходил к Шашину играть в шахматы на протяжении 5 лет. Если бы не Андрей, я еще долго был бы в неведении. Двор был буквально забит мужчинами.

Какая-то полная еврейка спрашивала у дочери, не убьют ли ее.

Зашел к Шашиным. Людмилы Андреевны не было дома. Тетя Манечка сказала, что у них остановился румынский офицер (я узнал в дальнейшем – майор Радулеску, батальонный командир). Я воспылал надеждой добиться освобождения, чтобы попасть к врачу.

Подошла Л. А. Стала рассказывать новости. Кстати, о девушке-еврейке, находящейся под арестом в их доме. Один румын предложил ей якобы стать его женой. На отказ пригрозил: все равно будешь – и убьем. Л. А. вынесла ей кусок хлеба с маслом.

– Румынские солдаты, – сказала Л. А., – голодны и воровиты. Сорвали замок у соседки – вдовы с детьми, ушедшей из дому, и забрали. Вдова в отчаянии – плачет.

Я группе солдат бросила с балкона хлеб. Они как звери набросились на него, нарезали на кусочки и стали делить. Это увидел офицер. Он вырвал у них хлеб и бросил в болото. Те захотели вынуть хлеб из болота. Офицер не разрешал.

Тогда группа вояк загородила офицера, и один вынул хлеб из лужи. После этого хлеб был разделен и съеден.

– Майор, – рассказывала Л. А., – тоже не шикарно живет: полбаночки консервов, горох с мясом. Это его завтрак. Хлеб, – она показала мне, низкий ячменный черный.

Денщик офицера, немец Пауль Бауэр, не служит предметом забот своего начальника в части питания, и в этом оставлен на свою инициативу.

Пауль – молодой паренек с редкими светлыми волосами, тонкий нос с горбинкой, разговорившись (я с трудом понимал его),

самодовольно рассказывал о взятии Крыма, Ростова, Киева и окружении Москвы. Об огромных потерях русских и о многих своих. О том, что с Россией будет покончено до декабря.

Я стал с нетерпением ожидать майора. Пообедал. Это мне очень помогло в дальнейшем.

Наконец явился майор. Плотный мужчина, лет 38, с близко посаженными слегка косящими черными глазами.

На меня он даже не взглянул. Л. А. заговорила с ним по-немецки. Обо мне. Он посмотрел на меня, слегка наклонился и спросил, чем я болен. Я сказал. Он посоветовал «скорей» пойти записаться внизу и с первой партией пойти к полицейскому, а там меня освободят, так как я невоеннообязанный.

Я поспешил вниз.

Писарь, услышав, что меня направил майор, растянул свое худощавое лицо в угодливую улыбку и, закончив заполнять очередного из толпы теснящихся возле него мужчин, записал мою фамилию.

Я снова хотел пойти к Шашиным, но румын в каске что-то быстро и удивленно заговорил и предложил мне стать в строй здесь же стоявшей партии мужчин.

Закончив писать, писарь вычеркнул из списка лиц немецкой национальности, и нас, 26 человек, вывели со двора. Выходя, я видел группу евреев, стоявших отдельно и с испугом наблюдавших происходящее.

Кто-то произнес: «Сколько осталось людей без всего и сколько осталось всего без людей».

Конвойных было трое, одного из них называли сержант. Как потом оказалось, они были простые беззлобные люди, хотя и строго наблюдали, чтобы кто-нибудь из нас не удрал.

К вечеру нас довели к мосту и повернули направо. Я недоумевал. Куда нас ведут? Дошли до 5-й улицы. И здесь наш сержант стал спрашивать, куда нам идти. Он даже не имел адреса, куда нас следовало доставить. Подошел офицер в очках, щеголевато одетый, говорил с апломбом, на ломаном русском языке. Что-то сказал сержанту и нам, что нас опросят и отпустят.

Пошли мы дальше. По дороге кто-то раздавал сардель. Конвойные набрали себе в тряпочки.

Поднялись поверх, по Херсонской. По дороге встретились знакомые и сказали, что они были на улице Буденного и их отпустили по домам до понедельника, без каких-либо отметок.

Подошли до Островидова. На каждом перекрестке стояли патрули. Совсем стемнело.

Мы объяснили сержанту, что нужно идти еще километров 6. Он испугался и свернул в какой-то штаб. Во дворе дома на Сенной площади постояли еще час. Вышел офицер. Он, видимо, направлял нас на Буденного. Он кое-как говорил по-русски, и мы все стали ему объяснять, что там людей отпустили. Он это не захотел понимать. Я спросил, понимает ли он по-немецки. Офицер, вдруг обозлившись, крикнул: «Ай, пшдьян!» – и матерно выругался по-русски. Ему стали объяснять цель нашего вояжа на Буденного. Он понял, что мы хотим домой, и угодливо спросил: «Покушать?». «Да, конечно, покушать!» Вояка вдруг преобразился и, свирепо сунув мне под нос кулак, крикнул: «Вот кушать! В лагерь!». И снова длинно выругался.

Нас снова повели со двора штаба. Мы повернули направо. Но сержант закричал: «Но! Но!» – и мы вернулись обратно своей дорогой, которой недавно пришли к штабу.

По дороге патрули палили вверх из винтовок, и наши конвойные, видимо, для храбрости, стреляли и себе.

Так дошли до Московской, 71, и остановились у булочной. Хлеба там, конечно, уже не было, а была, как видимо, караулка. Нас, считая, как овец: уна, доей, трей, – пропустили в помещение. Обыскали долго и тщательно. Караульный к нам относился беззлобно, показал жестом, что мы здесь будем спать. А завтра майор распорядится, что нам делать. На просьбы «кушать» извинительно развел руками: «Нема». Воды же принесли, повторяя: «Апа».

Среди нас было много дезертиров, большинство из них одобряло поведение румын. ___?___ было фронтовиков. Жаловались на скверную кормежку в Красной Армии, на командиров, которые пьянствовали в Одессе. А фронт оставили на новоиспеченных лейтенантов, назначенных из нижних чинов. Один дезертир, заросший и с бледным от долгого сидения под землей лицом (В. Барильский), пояснил свое поведение тем, что много видел предательства, что наши укрепления у Беляевки были сда-

ны немцам без выстрела, что флот по сигналам предателя-корректировщика палил по своим матросам и побил их 2 тысячи, что наши же летчики бомбили Одессу.

Сержант румын, быстрый худощавый паренек, стал жестами объяснять нам политику: Германия, Италия, Румыния, Финляндия, Россия – фашисты. Жидан-большевики – капут!

Выразительный жест штыком. (Всеобщее подхалимное одобрение слушателей.)

Показывал свои шрамы от ран.

Жидовка за пулеметом, а я штыком. Она за штык руками, а я штык вырвал. Капут! (Опять одобрение.)

Заснул я на 3-й хлебной полке, подстелив под голову пачку хлебных уже никому не нужных купленных карточек. Под разговоры о тяжести жизни при советской власти.

19/X 1941 г.

Утром длительные переговоры сержанта-конвойного с сержантом-караульным и снова поход на Болгарскую – Буденного.

Пришли. Нас стали конвойные обыскивать, ища оружие или ножей. Между прочим, явно интересуясь содержимым карманов, бумажников, но ничего не взяли. Караульные были пожилые.

В школе, в которой я когда-то временно работал, помещался, видимо, комендант или полицейский чин. Сухой старик в чине майора, знающий русский язык.

Со всех концов снова прибывали большие группы молодых мужчин.

Очень много дезертиров, как их называл один из нашей группы, кривой на один глаз грузчик Мясного, – «валетов».

Долго мы стояли, ожидая своей судьбы, когда нас опросит майор-комендант. Но наша группа была маленькая, мы стояли в стороне, и нас не вызывали. А есть хотелось все сильнее и сильнее. Хорошо, что я пообедал у Шашиной, но уже прошли сутки, и живот поджимало. У меня была соленая сардель, но я ее не хотел есть.

Приводили группы евреев со стариками, старухами, детьми. Среди двора, разместившись на каких-то узлах, сидела еврейка и, держась руками за голову и хватая воздух, как в припадке, стонала.

Никто из румын на нее не обращал внимания. Двое хлопцев унесли ее на носилках. Одну группу евреев отпустили до среды. Они ободренные, возбужденно разговаривая, расходились по домам.

Выставили столы, видимо, желая зарегистрировать, но, видя невозможность проверки с одним писарем такой массы людей, сделали иначе.

Старый майор вышел на середину и выкрикнул: «Милитер!» – и указал, чтобы они присоединились к большой группе военнопленных. Таким образом, отделив военнослужащих. (Туда отправились несколько человек из нашей группы, бывшие в военной одежде.) Их куда-то отправили. Отделили бессарабцев и тоже отправили.

Одесситы были отпущены до пятницы, в том числе и я.

Все опросы производились на основе полного доверия. Каждый направлялся в свою группу, не испытывая своей судьбы.

Наблюдал интересную картину: половина мостовой у школы-комендатуры была занята строем приведенных арестованных. Мимо медленно проезжала грузовая машина с 6-ю немецкими солдатами и, видимо, младшим комсоставом. Сзади также медленно на пикапе ехал румын, стараясь протесниться. Он ударил слегка машину с немцами, и последняя кувыркнулась набок, роняя перепуганных господ офицеров на глазах многочисленной толпы в пыль мостовой. Поднялся крик, все бросились поднимать машину, кое-кто стал кричать, чтоб не поднимать, пока не выключат продолжавшего работать мотора. Пользуясь суматохой, румын дал легкий газок и шибче, шибче, двинул наутек. Немцы опомнились, когда машина была далеко. Один бросился – «Gale! Gale! Rurush!» – выхватил браунинг, и пока яростно возился с предохранителем, румын уехал настолько, что его догонять и стрелять было уже совсем безнадежно. Немец рассвирепел еще больше, с гневом к нему присоединились и другие. На ком же догнать его? Подошел офицер в чине лейтенанта. Они бросились к нему и стали что-то яростно кричать, жестикулируя перед лицом смущенно, недовольно и обиженно слушавшего их румына. Но чем он виноват, что его соотечественник, солдат, возможно, и не его части, сделал преступление и бежал? Чтоб чем-нибудь угодить рассвирепевшим немцам, он стал разгонять с помощью

своих солдат собравшуюся толпу. Немец, который пытался преследовать румына-шофера, куда-то побежал и вскоре вернулся с машиной, везшей на буксире вторую. Тут наиболее пострадавший, видно, в старшем чине, уже успевший перевязать ушибленную руку, пощупывал ребра, стал истерически кричать на ни в чем не повинного нового румына-шофера. Все немцы метались в бессильной ярости. Наконец пострадавшая машина была завезена и двинулась восвояси.

Конвоир-румын был явно доволен, что румыну-шоферу удалось благополучно бежать от немцев.

Итак, я двинулся домой. Резиновые сапоги вдруг страшно отяжелели, ноги вспотели, подвертки чуть ли не хлюпали. Живот подвело от голода, растертые пятки нестерпимо болели. Злой, я медленно плелся по Преображенской.

Народа было много, по-воскресному. Много военных. Сновали машины, но город еще носил следы пережитого. По магазинам шныряли румынские солдаты, выламывая окна и двери. Тащили разное добро.

Несколько немецких солдат стояли возле парикмахерской, а один из них уже оттуда через окно подавал пудру и мазь.

Один на мотоцикле вез пару валенок, привязав их седлу, и домру.

На сердце становилось все тяжелее. Много офицеров с женами, какие-то штатские рассматривали разрушенные улицы.

Поплелся я к Ане.

Мне думалось: как может людей интересовать пудра и всякая дрянь, которую эти недолюдки тащили из магазинов?

На Дерибасовской, у баррикады, сидела группа мужчин, видимо, готовясь разобрать это сооружение. Их охраняли конвойные.

Сначала я побаивался, чтобы опять меня не подхватили, но видя, что не задерживают прохожих, двинулся мимо конвойных.

«Фанкони» сгорал. С замиранием сердца я обогнул угол. Да. Все здание сгорело, и Анина квартира тоже.

Пошел к Эрлихам. По дороге натолкнулся на приказ № 2 и 3 – под угрозой расстрела должны явиться служившие под советским режимом и руководители организаций. И под угрозой расстрела сдать все награбленное. Но голове волосы пошевелились.

Явиться велели врачам и медработникам. Явиться руководителям учреждений, завскладами, магазинами и т. д.

Пришел к Эрлихам – у них никого. Стекла в двери выбиты, обстановка цела.

Пошел домой голодный. По Московской зашел до Шуры Чавдар, хотел попросить хлеба. В воротах мне сказали, что пришел Александр Николаевич и только что пошел домой, и что я смогу его догнать.

Действительно, я его сразу увидел. Он шел, слегка сутулясь, в серой селянской куцовойке и таких же брюках. На голове торчала страшно засаленная кепка.

Я его окликнул, он радостно со мной поздоровался.

Шашин рассказал, что был взят в плен под Очаковым, отпущен и вот вернулся домой.

Я торопился домой, и мне было неудобно у него задерживаться, когда А. Н. даже еще не умывался. Попрощавшись, двинулся дальше.

Проходя мимо патруля у Гена, румыны обыскивали идущих в город.

Несколько немецких молодых солдат забавлялись, разбивая уцелевшие после взрыва окна в разрушенном заводе.

Поевши, пошел в курень нашего невода. Сторож Володя сидел, что-то зашивая.

– Вот, – говорит он. – Забрали полкорзины соленой сардели. Мою пайку, – он говорил о румынах.

– Надо было не давать.

– Что я, драться с ними буду?

Румынский солдат резал кодолу. Зачем-то ему понадобился канат. Заметив меня, он смутился, покраснел и направился ко мне.

Здесь я заметил, что у Володиной корзины свалка. Румыны чуть ли не дрались у Володиной сардели.

Я побежал туда. Солдаты выходили с узелками с рыбой и, заметив меня, смущенно расходились. Всю рыбу расхватили.

Володя обиженно смотрел на меня, словно я был виноват, что явились солдаты, что война и что он остался без всякого пропитания, старый, больной, одинокий, умирать голодной смертью.

А к куреню бежали новые и новые солдаты за «пештой». Последняя жменька была подобрана. Мы только удивленно переглядывались.

Но вот новые солдаты бегут за рыбой. Оказывается, на Николаевской остановилась какая-то часть, и солдаты ринулись тащить, что попадет под руку.

Володя вынес пустую корзину и показал – нема. Все забрали.

На дне корзины прилипли две маленькие рыбки. Солдат жадно схватил их и отправил в рот.

Пообедав дома, я снова пошел на берег. Кодолы, которую резал румын, уже не было. Остались две, сушившиеся на берегу. Я их схватил и перетащил на завод.

Володи не было. Курень был раскрыт. Замок сорван и с кольцами унесен. В курене они ничего не нашли.

Ходят слухи. Группа румын ворвалась к одному жителю, изнасиловали его дочь и уехали на повозке. Стало жутко – отлучился, а дома наделают черт знает чего.

Задержал румын-часовой. Под видом поиска оружия заинтересовался моим бумажником: «Копейки нет?» – спросил он. Я, не отвечая, пошел. Он меня не задерживал.

Слухи. На Ярмарочной избили русского, выдававшего себя за немца.

Якобы румын забрал часы у старика и хотел отнять пальто. Тот пожаловался проходящему немецкому солдату. Румын был застрелен на месте.

Встретил Алешку Бесесля.

Он рассказал, что участвовал в Финской кампании. Ему выписали воинский билет. Писарь заинтересовался, почему у Алешки немецкая фамилия. Алешка сказал, что отец у него был немец.

Так и было записано в воинском билете. В паспорте же значилось, что Алешка русский.

Но паспорт у него отняли при первой мобилизации. А по воинскому билету не взяли на военную службу. В 41-м и посадили, как и всех немцев.

Алешка сказал: «Раз я две недели страдал в тюрьме, теперь можно воспользоваться своим превосходством».

Рассказ дезертира

22/VIII был издан приказ о мобилизации всех мужчин от 18 до 50 лет.

Я явился, как и все наши, в Клуб юных пионеров (на Московской).

Во дворе у нас поотнимали воинские документы и паспорта.

После долгого ожидания вышел красноармеец и стал по документам вызывать нас по фамилиям.

Белобилетчиков было очень много, их на комиссии зачислили в запас 2-й категории. Слабосильных строили в 134-ю команду, отправляли для экипировки на 7-ю станцию, а оттуда на фронт.

Увидел я, что и я попаду в эту команду, а у меня сильный геморрой, и должна быть льгота. Решил пробиваться к начальнику.

В большой комнате с квадратными колоннами стоял длинный стол, за столом сидел капитан и начальник милиции по фамилии Ступка. Полный мужчина с заплывшими, словно от пьянства, глазами, отвисшей толстой нижней губой. С издевкой спрашивал высокого усатого рабочего:

– Ну, как здоровечко? – иронически осматривая его, спросил Ступка.

– Ничего, спасибо, – смущенно ответил рабочий, – только вот плохо вижу.

– Ну, как плохо? Меня видите?

– Ну, вас вижу.

– А Луну видите?

– Ну, Луну тоже, конечно, вижу, – еще больше смущаясь, говорит работяга.

– Значит, годен! В 134-ю команду, – заключает Ступка.

Я стал шуметь. Является здоровенный рябой милиционер. Затолкал меня в отдельную комнату. И, хлопнув за мной стеклянной дверью, крикнул:

– Расстреляю на месте, гада! Ты у меня не убежишь!

Тогда я быстро сбросил штаны и, нагнувшись, вывалил в его сторону свои шишки.

– На, смотри. Зараза!

Вид моего геморроя явно смутил рябого, и он не реагировал на мою выходку.

Оттуда я все-таки убежал.

Дома устроил себе далеко идущий выход из бомбоубежища и там прятался.

Поскольку на Пересыпи не ловили дезертиров, я первое время ходил не прячась.

Однажды я был на море, тряс канку и не заметил, как около меня очутился Ступка с одним еще милиционером.

– Документы! – явно узнав меня, потребовал Ступка.

– Дома.

– Ну, пойдешь за ними.

– Вот перетрясу сети – и пойдём! – не спеша я продолжал работу.

«Надо бежать, а то пропал», – возникло у меня отчаянное решение.

Закончив с сетью, я пошел к дому, за мной милиционеры.

Я стал прибавлять шагу, они заметно поотстали. И тут я как рванул от них! Пока Ступка возился с кобурой нагана, я перелез через забор Сахарного завода. И, заметив большую бочку с водой, нырнул туда.

Вода холодная. Терпел. Вынырнул – никого не было. Канка плавала в бочке надо мной.

Я выбрался из бочки, перелез забор и Ставрам, а оттуда в артель, забился в помещение, где хранился цемент.

Вылез оттуда, как черт. Цемент налип на мокрую одежду. Какие-то дети, я слышал, говорили, что кто-то сюда забежал. Я замер. Но скоро все утихло снова. Так я в цементе пролежал часа два.

Добравшись домой, я три дня никуда не вылезал из-под земли.

Приходил Виноградов, участковый надзиратель, и Ступка ко мне домой. Зашли в квартиру.

Жена говорит:

– Ищите, его нет дома.

Виноградов говорит:

– Да. Мы знаем, что он дома. Но ничего, я с вами еще поговорю.

Ступка стоял и молчал. Злился.
Я знаю, кто это на меня сказал. Илюшка-парикмахер. Ну, пой-
маю я его!

Спирка не ушел от своей судьбы.
В 1944-м он уже не убежал от мобилизации и погиб под Бенде-
рами, где прорывали фронт.

22/Х 41 г.

Вернулся из плена один сосед, бывший на пароходе «Ленин».
Много пережил во время катастрофы с ним.

На море увидел Ивана с Лобаза, работали с ним на неводе.
Он длинно рассказывал, как у него румыны забрали соленую
сардель и три ведра постного масла. Идя домой, увидел двух
румынских солдат, шедших с нашего переулка по берегу
к Тряпичной.

За ними шел старик, видимо, какой-то служащий. Он был
очень взволнован.

– Простите, я хочу вас спросить, – обратился он ко мне. – Как
мне быть? Зашли вот эти два румына ко мне, – он показал на
удалявшихся 2-х солдат. – Нашли сахар. Там было 12 кило, и за-
брали. Ну что же это такое, я вас спрашиваю! Да еще угрожали
расстрелом!

Что я ему мог посоветовать? Чем помочь? Шел как раз еще
один солдат в каске. Мы ему пожаловались, что вот те солдаты
забрали у старика сахар.

– Цукер? – заинтересовался румын и сразу повернул за ухо-
дящими.

Старик побежал за ним.

Я стал наблюдать за ними. Мне не было слышно, что они го-
ворили, но я увидел, что солдат с винтовкой, повернул стари-
ка к себе спиной, закричал что-то на него и, ударив прикладом,
погнал его от себя.

Старик, увидев, что я повернулся уходить, закричал мне, что-
бы я его подождал, так как он боялся, что грабители с ним здесь
на берегу расправятся.

Я подождал старика. Он, перепуганный насмерть, говорил:

– Я закричал, ибо солдат приказал мне молчать и пригрозил застрелить. Что же это делается? Что же это такое? – повторял несчастный.

Солдаты торопливо пошли по берегу к Тряпичной. Произвол, грубое насилие. От них можно ждать еще худшего.

23/Х 41 г.

Собрался в город, чтобы там переночевать и пойти в пятницу на регистрацию, как нам велели. Заодно зайти к Лизе и отнести ей тюльки, крупы, муки.

Оделся попримочней, во что: пальто, белую манишку под галстук. А на ногах туфли – рвань.

У ворот – Саша Блюм, рассказал, что на Московской румыны расстреляли несколько человек евреев.

Наши бедные дворовые ходят как тени, не едят, не пьют. Яша Кравецкий держится стоически. Пытается спасти семью, он ради них дезертировал – бежал домой из порта. Он решил пустить в квартиру Карлушку Блюма, чтобы так облегчить свою участь, – немец все-таки!

До контрольки у Гена дошел свободно. Там меня обыскали. Румын показал на патронташ, объясняя, что он пуст.

Пошел дальше в переулочек, у Эл. станции работают – копают канаву, выпустив воду из затопленных мест. Там же увидел Шашина А.Н. Пригласил меня переночевать и не советовал спешить с регистрацией.

Мы вышли на Московскую. Шедшие навстречу люди испуганно рассказывали о том, что видели на Московской у Конезавода. Страшная картина вскоре предстала предо мной. На трех виселицах, сколоченных из березовых бревен, висело 6 человек. Все, видимо, были евреи, одного я узнал – наш почтальон. Несчастные были белы. Здесь же на листе фанеры было написано: «Так будут наказан всякий, кто поджигает склады, дома и укрывает коммунистов».

Мой взгляд упал влево на землю. У стены в разных позах лежали расстрелянные человек 20. Лиц нельзя было узнать, они были окровавлены. Стена над ними носила следы пуль и крови. К стене была прислонена крючковатая палка, на которую, видимо, упирался какой-то несчастный. Рядом лежали вещи и куча одежды.

Я был, как во сне. К комендатуре подвезли ___?___ стариков. Среди них были Тартаковские и Дорфман. Как в тумане, я пошел дальше. По улице расхаживали патрули по 6 человек с винтовками. Я все время боялся, что меня задержат и отберут продукты.

Один заглянул в мою корзину. Порывшись, сказав: «На базар», – румын отпустил меня.

От Вали Мельгоф я узнал, что в диспансере работает Якубович уже 3 дня. Я очень обрадовался.

У Лизы застал румын, пытавшихся проникнуть в квартиру. Не помогало «deutsch», и едва их спровадили. Оставив ей продукты, я пошел назад.

Шашина я застал дома. Был, как всегда, радушно принят.

«Актер», – узнал меня румынский батальонный. Касаясь евреев, майор сказал, что это единовременная мера и что она может повториться.

«Калт инд зима и все карит», – спокойно закончил румын. Завели патефон. Слушали Шаляпина, Карузо и как злую иронию – «Еврейскую комсомольскую» Дунаевского.

Чувствовал себя очень плохо. Скверно спал ночью.

24/X 41 г.

Утром пошел в диспансер. Якубович хозяйничала. У нее в операционной сделали общую приемную для общей помощи. Туда стащили бинты, медикаменты. Здесь же сновал румын-врач в фуражке с широчайшей тульей. Низенький полный с красным крестом на рукаве (оказался евреем).

Получив поддувание, я получил от румынского врача справку о болезни и об освобождении от тяжелой физической работы – рneumothorax.

По дороге домой встретил большую группу евреев со скарбом, с чадами и домочадцами, все с Ярмарочной. Под конвоем.

Было страшно, но меня поразило стоическое поведение этих несчастных обреченных. На лицах у некоторых было отчаяние, но большинство были спокойны. Даже маленькие дети шагали серьезно и строго, как взрослые.

Наши домашние, как и все соседи, были подавлены, картина покидания своих жилищ несчастными была невыносимо тяжела.

Все же это не помешало оставшимся расхватывать имущество из оставленных квартир, то есть то, что не забрали конвойные. Расхватали также и квартиры уведенных.

Наши ничего не брали. Лишь половиу, которую Миша Плетовник отдал сам.

Да Лилька получила на хранение от подруг (несчастные дети) куклы.

Рассказ Шашина

В конце июля (41) я был взят в числе прочих строителей-специалистов на противотанковое строительство укрепления. Все делалось наскоро, беспланово и, как теперь оказалось, совершенно напрасно, как и все работы внутри города (все улицы были перегорожены так называемыми «баррикадами»).

8/VIII 41. Ночью строительный батальон, состоящий из бесарабцев, где Шашин был в командно-техническом составе, был срочно переброшен в узловый пункт обороны села Нечаево, под Очаковым. Нужно было рыть противотанковый канал для обороны этого городка. «Для этой работы с наличными людьми, – говорит Шашин, – нужно было 200 дней».

Бездельность этой работы была уже тогда ясна. Немец к тому времени занял уже Вознесенск.

Майор, руководящий работами, пообещал подсобных рабочих из колхозов.

Действительно, согнали тысячи баб на подводах. Все в белых кофточках и косынках. Этот наряд был на них по «рекомендации» немцев, бросавших с самолетов листовки, «заботясь», чтобы спасти работающих от обстрела с самолетов.

11/VIII 41. Шашин видит, что бабы садятся на подводы и спешно покидают лагерь:

– Куда?

– Домой! Кушать! – отвечают.

А в действительности командование еще не знало, что немцы уже близко. На Нечаево, где было сосредоточено много наших частей, был произведен сильный налет авиации. Началась пуле-

метная и минометная стрельба. Немецкие передовые части на 10 танках и 2-х броневиках отрезали дорогу на Николаев и двинулись туда по Николаевской дороге.

Войска спешно стали отступать на Очаков, и Шашин с возницей-стариком на двуколке двинулся в обратном направлении.

Подъезжая к какой-то деревне в 24 км от Нечаево, Шашин наших частей там уже не застал.

Остались только завскладами, их было два: 1-й – батальона, второй авиаотряда – богатый, с вином и шоколадом. Там была охрана из 3-х красноармейцев.

Шашин нагрузил свою двуколку продуктами: масло, хлеб, консервы селедки – и двинулись по направлению к Одессе. Здесь же находился весь батальон бессарабцев.

На вопрос «Куда вы теперь?» они нагло открыто заявили: «К Гитлеру».

Итак, Шашин двинулся на Одессу, а от Нечаево к Николаеву, уже было видно, шли машины с немецкими солдатами и броневиками.

Шашин побаивался, каково теперь будет ему у немцев.

Вот на дороге стоит машина, около нее возилась группа немцев. У А. Шашина замерло сердце. Но немцы даже не взглянули на русских.

Лишь один крикнул – «Счастливого путешествия!».

Немцы шли налегке, без амуниций, с расстегнутыми воротниками и подкаченными рукавами рубашек. Все их снаряжение лежало на следовавших за ними машинах. Так их командование заботилось о солдатах в жару.

«А наши, – рассказывал Шашин, – делали с полной выкладкой в 3 пуда по 60 км в день. Как же они могли после этого воевать?»

Это же мне рассказывал и Щекин.

Бессарабцев немцы согнали с подводов. Шашинскую двуколку тоже отобрали.

Бессарабцы и немцы расхватили продукты с Шашинской двуколки. Дальше он пошел пешком. У Сычавки Шашин наткнулся на большую часть красноармейцев дивизии, разбитой у Поповки.

Вскоре появилась машина с немцами, у которых были повязки teld politusch, которые построили всю группу бессарабцев, крас-

ноармейцев и Шашина в их числе и направили вверх по лиману на регистрацию, предварительно выделив евреев. Ход был очень быстрый. Шашин задыхался. Офицер отобрал стариков и отпустил, но предупредил, чтобы не ночевали в поле, ибо это может их погубить.

Так они добрались до немецкой деревни Люстдорф и там пробыли с августа до 16/X 41 г. – до взятия Одессы. Там было пытались хозяйничать румыны, все население ушло из деревни, но при содействии немцев опять вернулись.

Попал на перерегистрацию. Я в Одессу попасть не смог – не была еще занята. И узнал я, что одесситов гонят на работу черт знает куда. Называю я ради жительство своей Любашевку – немцы верят и дают документ мне на Любашевку. Пошел я не на Любашевку, конечно, а на Сычавку, а там коменданту заявлю: думал, мол, на Любашевку к родичам идти, да передумал – тут заработаю себе хлеба. Согласились и дали сычавский документ.

Заработал себе хлеба. За неделю 9 пудов пшеницы, 6 пудов картофеля, 20 пудов кукурузы и 6 пудов семечек.

Зашли раз мы на аэродром. Охраны никакой, летчики в футбол играют. Перешли через него. Никто не спросил: «Куда идешь? Зачем?».

25/X 41 г.

Сидел дома портняжничал – шил теплую безрукавку себе. Наши дворовые после слёз за забранными евреями поспешно и жадно растащили добро из их квартир. Я приказал своим ничего не брать.

Встретил случайно Илюшку Фаермана. Он рассказал, что его вернули с дороги, так как по приказу Антонеску прекратили уничтожать евреев и всех распустили по домам.

Вот будет сюрприз для тех, кто устроился в еврейских квартирах! Я сказал об этом Карлушке Блюму. У него вытянулось лицо и округлились глаза! Но он сказал, переводя дыхание: «Ну, и слава Богу!».

У заставы, рассказывал Илюша Фаерман, стояли русские бабы и стаскивали с проходящих евреев шарфы, кофточки и прочее – грабили. Румыны-конвойные – ничего не отбирали.

Когда стемнело, нам в ворота долго стучали румыны, но им никто не открыл. Ломиться они, видимо, не решились, и ночь прошла спокойно, против ожидания.

Утром (26/X) действительно стали возвращаться наши репрессированные, правда, пока одни дети. Был час дня. Мои позвали детей покушать картофель и сардель.

Девочка лет 10-11, мальчик тоже такого возраста и второй мальчик лет 8.

Они ели (дети остаются детьми) и, смеясь, рассказывали: их группу согнали в погреб под сберкассой у моста. Списали фамилии и потребовали деньги и ценные вещи. Обыскали и отобрали сахар и продукты, а ночью приходили группами и уводили наверх молодых женщин и девушек, а оттуда, сверху, доносились крики и выстрелы.

Одна женщина, когда явился со свечой один из варваров 20-го века, кормила грудь ребенка. Румын приказал ей следовать за собой. Несчастливая положила дитя и пошла наверх. Ребенок заплакал, тогда проходящий румынский солдат наступил ребенку сапогом на лицо.

Молке, молодой красивой женщине, приказал один идти наверх, она отказалась. Румын направил на нее винтовку, грозил убить. Отважная женщина предпочла смерть позору. Но румын убить ее не отважился.

Одну девушку отстояли общими криками, испугавшийся солдат ее оставил.

Хайку Брондес (16-летнюю) спрятала Хона, ее мать, спрятав узлами и собственным телом.

Все это дети рассказывали и смеялись. Не понимая всего пережитого ими ужаса.

Один пьяный офицер, раздев сапоги, вызывал кого-нибудь с ним бороться. Никто, конечно, не шел. Тогда бандит стал бить сапогами женщин, детей.

31/X 41 г.

Был у Шашина, был у Лизы, достал ботинки. Зашел в Украинский к актерам Твердохлебу и Хорошу.

Хорош рассказал свои приключения. После бомбежки Минска Хорош бежал с женой и родными в Знаменку. Вскоре все мужское население мобилизовали и на фронт.

Но немец был близко. Построили. Кто не хотел, насильно выгоняли из щелей, погребов. Вывели на дороги, и колонна была обстреляна пулеметом с самолета.

Кто куда – спрятались в лес. В лесу была колонна, командир собрал всех. Там были больные, нестроевики, старики. Зачислил к себе в часть. Раздал по винтовке и по 2 гранаты.

Хорошу, так как он был представителен и в гражданском костюме, было задание поджечь головной танк противника бутылкой с бензином. На возражение, что он, мол, гражданский и никогда не воевал, – угроза револьвером – расстреляю.

Взял гранату. Прошел с Хорошем лейтенант и три бойца. Залегли у дороги. Мчатся танки. У Хороша душа ушла в пятки.

Передний танк остановился и стал палить по лесу из пулемета. Хорош этот момент расценивал как счастливый в его жизни. Он оглянулся на лейтенанта, тот лежит в канаве и голову спрятал за дерево. Тут Хорош решился. Бросился вперед по канаве, пробежал метров двести, уже по дороге мчались машины и мотоциклы с немцами. Хорош поднял руки.

Лейтенант немец остановился:

– Рус мелитер, – спросил. – Комиссар?

– Нет. Нет.

– Ступай.

Хорош боялся выстрела из леса от своих за измену. Когда смотрит, а из леса идут все остальные с поднятыми руками. Немец командует – все по домам!

По Украине добрался до Одессы.

Не жизнь, а малина. 25% хлеба немец забирал, а остальное оставалось у __?__. Но 400 пудов хлеба имеют, живут припеваючи.

– Украина, – говорят, – самостоятельное государство под управлением галичан.

В Кировограде нормальная жизнь. Украинский театр работает, все начальство из местных воротил.

Простился с ними. Просили заходить.

Отпущенные 25/X евреи опять задерживаются. Идут случайные расстрелы: отпущенных хватают, выводят из дома и расстреливают.

Так было с дочерью шорника Черного, она была расстреляна с 3-мя детьми.

Илюшка Фаерман был взят в первую ночь после освобождения из дома, отведен с полквартала, и поставили к стене. «Ну, конец», – подумал он, закрыл глаза и ждал смерти. «Галло! – кричит конвойный. – Идем», – потом закурили, а на следующем квартале снова поставили к стене.

«Хоть бы смерть, чем так мучаться», – подумал Илюшка. Снова не убивают его румыны. И так несколько раз. Затем запирают его в отдельной комнате на Тряпичной. А наутро выпускают.

Пришли, наконец, наши соседи Кравецкие, Брандесы, Платовники, побыли сутки, а затем их снова забрали. Кое-кого из женщин отпустили, а мужчин заперли.

Прошлой ночью была зенитная стрельба. Проектора ловили самолет.

Слухи: Турция объявила Германии войну!

Пробовали рыбачить, но с жалким результатом: пришлось по две глоськи. Собираемся на лиман. Нашелся над нами хозяин – роокотенент-лейтенант. Работал по направлению невода – представляли марлю на более крупное очко. Зашел Миша, он работал на баррикадах. Конвойные нарочно работу обращали в пытки. Заставляли лезть в воду выше колен. Избивали палками, кое-кого до смерти. Йойну Ж. за то, что он завяз в песке и упал. Конвоир-надсмотрщик ударил по спине лопатой так, что я думал, что гад сломал ему позвоночник.

Йойна не привык к такому обращению. Бедняк, который всю жизнь работал ради хлеба, терпел нужду, к этому новые испытания привели его к мыслям о самоубийстве.

Вот уже две недели хлеба нет – печем ячменные коржи. Немцам городским дают белый хлеб. Это первая их привилегия над русскими. Ждали и мы – люди 3-го сорта – хлеба. Подать есть, но все на обмен. За деньги ничего не купишь.

На море

Васька Павленко позвал меня:

– Там, – говорит, – выбросило на берег ялик. Надо забрать.

Я с удовольствием принял его предложение.

На море было беспокойно. Погода пасмурная. Дул низовый. Васька в такие погоды всегда ходил на добычу. Беспокойная стихия всегда бросает на берег свои подачки: дрова, порожние ящики, а теперь прибывает более ценные вещи. Кто знает, какими несчастными и при каких обстоятельствах ими покинутые. Подарок был сегодня обильный – в морской тине, обрамлявшей все побережье, бился бортом о песок великолепный шлюп. Правда, грязная, запущенная, но крепко сбитая, почти новая.

Я предложил пригнать ее канатом и вытащить на сушу у самого нашего дома. Васька колебался. Позвали Сашку Блюма и Карла. Откачали воду, набравшуюся от брызг. Вместо шполика пользовались противогазными сумками, в изобилии валявшимися по берегу вместе с противогАЗами, совершенно новыми, без употребления, брошенными в море при отступлении нашей армии.

Посуда не имела снастей, один руль валялся на дне, два паела и одна уключина одиноко торчала на борту.

Подошли еще ребята. Лодка была перетащена через вал и спущена в канал, прорытый для спуска воды из лимана.

Кроме лодки прибило крышу от палубной надстройки – большой дощатый четырехугольник, крытый железом.

Щит разобрали и стащили домой. Повытаскивали выброшенные давно, но никем не подбираемые из-за своего большого веса деревянные колоды.

Все полезное было подобрано.

Лишь вздутые тела побитых лошадей чернели по сумрачному побережью. Прошло уже 2 недели после эвакуации, а битые лошади все еще прибывали морем, да головы рогатого скота, нашедшего свой конец под ножом мясников на бойне.

6 ноября

Погода осенняя. Моросит. Туман. Одел плащ, сапоги и пошел к Алексею. Его не застал. Пошел к художнице-генеральше. Долго бродил по залитой лиманской водой, хлынувшей от взрыва дамбы аж на 2-ю Николаевскую, пустынной улице. Вода местами доходила выше колен.

Переходя из дома в дом, я полностью прочувствовал, насколько велико несчастье людей этого залитого района. __?__ от моста

Московской чуть ли до Лузановки от __?__ Пески, Лиманчик, вся Балтская дорога, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я улицы Пересыпи.

Десятки тысяч домишек, построенных на трудовые копейки, ценной недоеданий, недосыпаний и долгого изнурительного труда, гибнут – замокают, разваливаются. Проклятый Гитлер! Гнусная война!

А наши хороши. «Война на чужой территории». «Ворошиловские залпы». «Любимый город может спать спокойно!»

Десятки тысяч людей покинули свои несчастные жилища и ютятся в конторах фабрик, общежитиях, школах и в освободившихся еврейских квартирах, все еще выжидая: «А может быть, упадет вода и можно будет вернуться в свои насиженные гнезда».

Дом «генеральши» тоже залит. Каменная ограда рухнула. Деревянная лестница, привязанная проволокой, чтобы не уплыла, видимо, выполняла функции моста. Заколоченные двери, разбитые стекла окон. Ветер свистел, нагнетая досаду и тоску. Женщина с клумаками, видимо, перетаскивала на более пригодное жилье, сказала мне, что «генеральша» перебралась на 2-ю Николаевскую. Побрел я туда. Проходил мимо сгоревшего завода элеваторного оборудования. Пожар, видимо, потушили, но от него мало что осталось: обугленные стропила. Мокнут и прогнивают покинутые деревообделочные станки.

Вышел на мокрую и заглохшую Николаевскую. Пусто. Народа ни души. Лишь изредка пройдет румын, солдат-шатун. Да проедет машина с немцами.

Попался худой взъерошенный мальчонка-подросток, оцетинившийся на меня, покуда разобрал, что я разыскиваю, и указал на склады заготзерно, что там, мол, она живет.

Художница поселилась в бане. Вышла ко мне в грязном оборванном платье, худая, бледная. С ней мы условились о дальнейшей встрече (она мне давала консультации по работе над портретом).

Выходя от нее – натолкнулся на группу пленных в сопровождении конвойных румын, шедших с лопатами на разборку баррикад. Я их на всякий случай обошел два квартала, три «крюка».

7 ноября

Год тому назад я, утомленный, исхудавший, с болью во всем теле, отсыпался до полудня, а потом слонялся в ожидании элект-

роэнергии, чтобы включить приемник. В доме стоял волнующий запах печенья и снеди, которую обычно готовили к 8-му – Лилькиным именинам. А сегодня? Я пишу при свете коптилки на кухонном столе. Маруся катает тесто и тоже пахнет печеньем. Но о былом празднике только воспоминания. Многие и многие потеряли веру и надежду на возвращение прежней жизни. Нельзя сказать, чтобы оправдались надежды кое-кого ожидавшего «смены власти».

Почувствовав на своей шкуре перемены жизни при оккупациях, они стали роптать и на новую власть.

Хозяйничание румын, грабящих наше добро и тащащих его к себе, не обещает ничего хорошего на будущее.

Хлеба еще нет и не предвидится. Торговли никакой нет. Крестьяне только меняют на продукты, картофель, муку и жиры, на одежду, мыло, синьку, обувь и прочее. Кино, театры не работают, электроэнергии нет.

Вода только появилась в нижних частях города самотеком. Пересыпь отрезана водой.

Трамвай пошел по 2-й Линии.

8 ноября

Сотни людей движутся по утрам мимо нас в поле за картофелем, морковкой, луком, кукурузой, свеклой, а к вечеру с клумками на плечах тянутся домой в город. Деньги отсутствуют. Теперь их очень много, но они не имеют хождения, хоть и не аннулированы.

Пошел к Станиславу. Поболтав, разошлись. У него дело закрутилось: несколько человек на полный ход штампуют зажигалки из патронных гильз.

Алексей отправился в город, а я к Шашину. Условились сойтись на «гуся», которого привезла из деревни __?__ молодуха, вторая жена Станислава (при нем их две): старая – законная, и вторая – молодая, на официальном положении компаньона, «завснаба и завсбыта».

Пообедали. Я с таким аппетитом набросился на еду, что чуть не вывихнул скулу.

Домой шел – уже темнело.

У Казанской церкви стояла толпа, и играл оркестр. Рота румын промаршировала с пафосом и гордостью. Мне они казались смешными в их напыщенности.

Румынская армия питается скверно. А пленные жестоко голодают, живут на подачках сердобольных, делящихся с ними последним.

Зашел в муниципалитет. Здесь кипит деятельность. Разбираются тысячи заявлений на открытие кустарных и промышленных предприятий. Много подано прошений(!) на аренду помещений под торговлю. Видно на то, что жизнь развернется, и разруха и застой – дело временное. Но для открытия любого дела нужны деньги. Алексей хочет наладить промысел на возросший спрос «верующих», мне предлагает участие. Я ему согласия еще не дал, но и не отказал. Интересуюсь, в чем суть.

Но нас там охладили. Решили временно от своего намерения отказаться.

У Станислава остановился молодой деревенский парень лет 24-х, у него на рукаве была желто-блакитная повязка.

– Вы нацист? – спросил его я.

– Национал-социалист, начальник полиции деревни Радужная.

– С Красной Армии прямо в начальники полиции, – едко встала младшая жена Станислава Ольга.

Я попросил рассказать, как он достиг такого «высокого» поста...

Борис Георгиевич Детков родился 23 октября 1910 года в семье художника (последние годы работал бухгалтером).

Б.Г. Детков был активным комсомольцем. Работал в драмкружках, а впоследствии – в Одесском ТЮЗе. По путевке комсомола был направлен в села Одесской области с актерской бригадой для проведения коллективизации.

В 30-е годы окончил рабфак. На соревнованиях по плаванию глубокой осенью простудился, заболел туберкулезом. Был признан непригодным к военной службе. Во время Великой Отечественной войны жил в Одессе, работал маляром.

После освобождения Одессы, буквально на следующий день, писал плакаты и лозунги для Ленинского района г. Одессы.

Всю последующую жизнь проработал на заводе Октябрьской революции художником-оформителем.

Собирал материалы о знаменитых одесситах.

После выхода на пенсию устраивал выставки, писал стихи.

По его материалам в Одессе организован музей футбола.

Умер 29 марта 1996 г.

